

Художественный журнал, № 10, 2018

[moscowartmagazine.com](http://moscowartmagazine.com)

## Александр Бикбов. Призрак будущего

---

*Александр Бикбов. Родился в 1974 году в Москве.*

*Социолог. Редактор журнала «Логос», научный координатор НИИ митингов. Живет в Москве и Риме.*

Время, которое нам еще только предстоит пережить, уже сегодня принимает вид призраков. Это могут быть призраки прошлого, которое настойчиво старались забыть и которое не желает оставаться забытым, стуча в двери настоящего, чтобы докричаться до будущего. Это могут быть обещания, более или менее правдоподобные и обоснованные — как марксов призрак коммунизма, которые следуют через настоящее транзитом. Или же это вытесненное — то, от чего уже сейчас пытаются избавиться настоящее и что обязательно вернется в будущем чем-то неузнанным. Эти три вида предвосхищенного будущего одинаково эфемерны и одинаково насущны в опыте настоящего. Именно они дают пульс нечеткому, подвижному и безупречно политическому переживанию времени. Оно политическое в той мере, в какой виды совместного существования определяются коллективными влечениями и воображением. На деле любой образ будущего делается политическим, как только приобретает сколько-нибудь ясные очертания, захваченные и присвоенные коллективной рецепцией. Эфемерные

призраки ткут материю дополитического, пока остаются предчувствиями, но вторгаются в политику, становятся ею, как только находят резонанс в инструкциях и приказах, обращенных к коллективному воображению. Такие приказы, как и предостережения, утопии и антиутопии, имеют двойную адресацию: к другим — в настоящем, себе — в будущем.

В недавнем интервью, опубликованном в «ХЖ» ([№ 101](#))<sup>[1]</sup>, я уже упоминал об одном важном факте, который раскрывает некоторые мои российские исследования. Когда обладатели самых разных занятий и социальных положений поставлены перед вопросом, кем и какими они видят себя через пять лет, ответить содержательно способны лишь немногие. Это профессиональные чиновники, студенты и школьники. Только в их воображении призраки будущего потеснены рационально организованной машинерией институционального времени. И это политический факт. Потому что сегодня у большинства из нас, то есть у большинства в целом, будущее слишком походит на настоящее. Чтобы поставить на эту плоскость луч, устремленный в иначе устроенную совместность, необходимо либо организованное коллективное усилие, либо эмансипированное воображение. И второе редко не нуждается в первом. Не так давно две категории собеседников, способных предсказать свою жизнь на пять лет вперед, пополнились третьей — художниками. Это прибавление также имеет политический характер. Художники с самого начала своей профессиональной карьеры попадают в ритм зыбкого, хрупкого времени. Их будущее походит на настоящее потому, что мерная шкала долгой перспективы замещена короткими циклами текущих

проектов. На годы вперед эластичное время предсказуемо как повтор неизменно кратких циклов актуальности.



В предельном горизонте эти крайности сходятся: те, кто видит себя в будущем благодаря бюрократической мерной шкале, находят нечто общее с самыми непредсказуемыми предсказателями, чье будущее соткано из повтора творческих непостоянств. Не в этом ли раскрывается тайный замысел неолиберальной эпохи: в неожиданной конвергенции бюрократического и артистического времени?

Если неясные призраки будущего оставляют место дополитической неопределенности, то любое публичное предсказание будущего окончательно закрепляет переживание времени в опыте политическом, принимая форму пророчества или антиутопии, догматического убеждения или разрушенной определенности. Сегодня нам хорошо знаком жанр негативного политического пророчества, которое начинается словами: «Россию не хотят видеть сильной, поэтому...» При отдаленном сходстве с логическим следованием «если... то...» этот риторический

прием отсылает нас не к логике и даже не к географическому пространству, а к фундаментальному переживанию времени, превращая неопределенное настоящее в сверхопределенное будущее. Именем текущих и, конечно, всегда крайне иллюзорных очевидностей геополитической вражды горизонт глобального будущего избавляется от двусмысленностей и непредсказуемости. Оно снова делается настолько плоским, чтобы как можно плотнее вписаться в ритм текущих интересов, которые теряют свою множественность, историческую недосказанность и застывают в отчетливых фигурах извечной войны.

Остановленное геополитическое время, где каждый момент конфликтного будущего уже предсказан в настоящем, в свою очередь, отсылающем к незыблемым истинам прошлого, все глубже инфильтруется сегодня в сенсационное время больших медиа и торопливое время кухонных разговоров. Его содержанием управляют все те же неверные призраки отягощенного прошлого и неузнанного, вытесненного настоящего. Однако непрерывный повтор, уверенность тона, которым их призывают, энергичное травестийное жречество, при помощи которого медийные пророчества навязывают будущему неподвижность, делают призраков идеей фикс, коллективным неврозом ложной очевидности.

Что противостоит застывшему будущему общедоступных и невыносимо легких геополитических пророчеств? Политика чувственного образа, которая объективируется в десятках и сотнях полузамкнутых фантастических универсумов. Если медиа отодвинули дальний горизонт событий во имя нервной актуальности, то фантастика приближает его во

имя чувственного правдоподобия. Именно фантастические жанры образуют сегодня резерв политического воображения, которому доступны альтернативы в обращении с призраками грядущего. Геополитический инструктаж неизбежно просачивается и сюда. Но его застывшей милитаризованной пространственности фантастика уже внутри жанра противопоставляет иначе сконструированные технологии и телесность.

Здесь может оказаться удивительным одно обстоятельство, которое поначалу выглядит почти пренебрежимой деталью. Фантастическое воображение, которое является актом влиятельного публичного высказывания, всегда неоправданно опережает хронологию технологических революций. И это (всего лишь) еще один политический факт. Невообразимое технологическое будущее буржуазной истории почти всегда проговаривается как дело ближайшего настоящего. В каком году происходит кибердействие снятого в 1982-м «Бегущего по лезвию»? — в 2019-м. В какой технологически продвинутый год отправляются персонажи сиквела «Назад в будущее» из своего 1985-го — в 2015-й. К слову, значительно ближе, чем в прошлое: в последнем случае речь идет о 1885-м. Ранее, в 1968-м, «Космическая одиссея» датирует эпоху межпланетных путешествий и появление компьютеров, способных на субъективный произвол, 2001 годом. Составив таблицу хронологических интервалов, на которые будущее в тексте или фильме отстоит от даты их выхода, мы с большой вероятностью обнаружим, что средний интервал прыжка во времени для хорошо коммерциализируемой фантастики составляет лишь 25–40 лет.





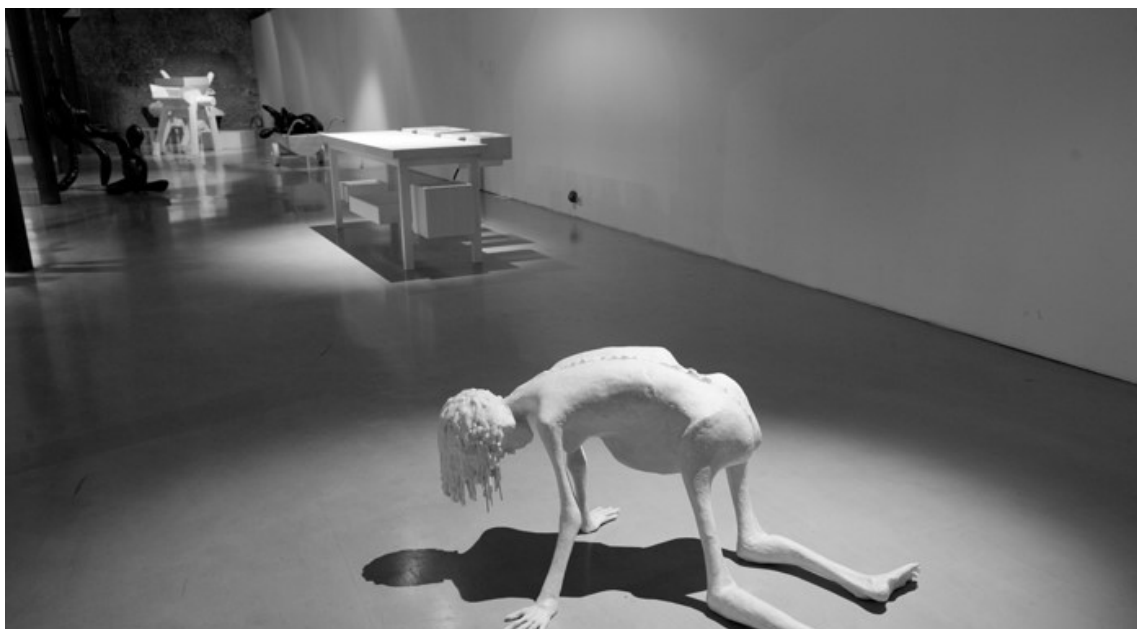
Возможно, именно в этом поспешном обещании техногенных перемен судьбы человечества скрыто ключевое политическое ограничение фантастического переживания времени в его конкуренции с геополитическим. В торопливости есть логика, которую Ролан Барт диагностировал уже в середине 1950-х, в своем эссе о буржуа на Марсе<sup>[2]</sup>. Точно так же, как «Марсу неявно приписывается исторический детерминизм, скопированный по земной модели», джентрифицированный индивидуализм фантастического времени делает интересным для серийного потребителя лишь то будущее, которое ограничено жизнью его поколения. В этом смысле советское кино о будущем более размеренно и более явно отсылает к ритмам коллективного тела, не привязанным столь же жестко к поколенческому метаболизму. Время действия последней в СССР фантастической эпопеи, «Гости из будущего» (1985), отделено от съемочного настоящего веком. Снятая десятью годами ранее сага «Москва–Кассиопея» переносит действие на три века вперед. Официальный социализм, значительно менее чувствительный к индивидуальной судьбе и к поколенческой

чувствительности потребителей, куда более размашисто распоряжается общим временем, приводя его в соответствие со сциентистскими теориями истории.

При этом по своей социальной структуре мир социалистического будущего подчинен тому же диктату мелкобуржуазного отождествления, которое Барт описывает на материале Франции: структуры субъективности, узнаваемые социальные типажи, привычные конфликты век или три века спустя — те же самые. Сценарий меняет, прежде всего, технологический пейзаж, технологию интерьеров и телесного существования. В этом смысле мелкобуржуазное одомашнивание времени по обе стороны железного занавеса, которое производится во имя правдоподобия в глазах зрителя, превращает космические эффекты в комические. По-прежнему несбыточный бытовой технофутуризм фильмов последних десятилетий XX века о начале века нынешнего сегодня отсылает нас к фактическому прошлому, которое почти всегда оборачивается антиутопией, вопреки воле сценаристов-предсказателей. В эмпирической истории фундаментальные технологические сдвиги происходят реже, медленнее. И лишь форсированное ожидание перемен позволяет нам видеть в публичных образах несостоявшегося будущего квинтэссенцию жанрового воображения *sci fi*, а не обанкротившийся прогноз.

И все же, помимо игр с хронологией в жанровой стилизации, у призраков будущего в фантастике есть общее, интернациональное обличье. Наиболее распространенный тезис, к которому коллективное воображение получает доступ благодаря *sci fi* — это модулированное или модифицированное тело. Согласно наиболее

распространенной жанровой формуле, в будущем человечество либо превращается в популяцию бионических существ (этот тезис воспроизводится в научной фантастике, начиная с 1950-х), либо телесный субстрат подвергается биомодификациям, оптимизирующим отдельные органы или всю клеточную ткань. Киноиндустрия сообщает модифицированному телу особенно убедительное чувственное правдоподобие. Между «Призраком в доспехах» (1995) или «Джонни-мнемоником» (1995) и «Суррогатами» (2009) расположилась череда образцовых фильмов о биомеханическом телесном симбиозе, совместном существовании киборгов и людей, бионическом расширении тел и разумов. Здесь главное обещание будущего заключено в модификации индивида-машины. Эта крайне двусмысленная в этическом отношении конструкция — в полном смысле призрак будущего — избавлен от окончательной этической квалификации: бионизация не хороша и не плоха, она рискованна. И, как любой риск, она несет в себе грозные предчувствия вместе с крайне соблазнительными обещаниями, проверить которые можно лишь постфактум, по мере ее осуществления и без серьезных гарантий.







На переживание настоящего, которым продиктованы все эти вариации, достаточно точно указывает жанровая специфика таких повествований. Чем ближе финальное послание фантастического нарратива к торжественному утопическому пророчеству, тем более важную роль в сюжете играет модификация индивидуальных тел. Фантастический фильм, который предлагает позитивную политическую дилемму или программу, адресуется зрителю, живущему телесным временем своего поколения. Критически и цинически сконструированные антиутопии, такие, как «Бразилия» (1985), сериал «Черное зеркало» (с 2011) и даже «Особое мнение» (2002), предлагают нечто совсем иное: они отказываются от захватывающей воображение модификации тел, чтобы сфокусироваться на модификации социальных институтов. Их послание ни в коей мере не является менее политическим. Наоборот: оно политизировано открыто и предельно, чего не допускает жанровая специфика и финансовая механика sci fi. Важной отличительной чертой антиутопии является как раз то, что она пересекает границы жизни поколения и обращается уже не к мелкобуржуазному измерению интереса публики, а к ее универсальной критической способности. Смещение акцента с модификации тел на модификацию институтов — узловым моментом в определении будущего, на котором я еще специально остановлюсь.

Второй фантастический тезис исходно рождается в ученых и артистических утопиях, чтобы уже оттуда проникнуть в воображаемое серийной культуры. Это земной шар, посредством коммуникативных технологий превращенный в

единый организм: мондиализированное коммуникативное сверхобщество, которое уже в 1920-е визионерски описывает Марсель Мосс, или глобальный электронный компьютер Маршалла Маклюэна, о котором тот грезит на рубеже 1950-х и 1960-х. Более важной, чем модифицированные телесные возможности, здесь становится пространственная достижимость: сверхскорость вместо сверхсилы.

Во многих отношениях эта утопия лучше отвечает мечтаниям профессиональных политиков и военных, чем мелкобуржуазной чувствительности модернизируемого большинства. Последнее подключается к глобальным технологиям по доверенности, через ограниченные каналы и на правах несовершеннолетнего пользовательского меньшинства, которое при этом составляет статистическое большинство. В быту технологии часто проживаются как магия, то есть вновь как индивидуальные сверхспособности. Фрагменты массового фантастического нарратива напрямую связывают эти два «сверх»-показателя, когда выводят на авансцену сверхлюдей, способных подключаться к электронным обменам напрямую, без технологического интерфейса, благодаря лишь своей мозговой активности. Ученая утопия сверхобщества трансформируется в популярную утопию сверхсилы, в очередной раз отменяя долгую хронологию усилий и ожиданий, которая неизбежна в реализации сколько-нибудь подходящих на это изменений в эмпирическом настоящем.

Двумя течениями, которые сталкиваются в медийном пространстве, образуя причудливые фигуры и сплавы: геополитически застывающее вечно-прошлое войн и адреналиновое (и всегда отсроченное) будущее

фантастических сверхспособностей, — переживание глобального времени не исчерпывается. С ними состязается, по крайней мере, еще одна форма переживания времени, которая наиболее последовательно конструируется при помощи интеллектуальной и научной критики. Этот взгляд в будущее почти никогда не предлагает позитивной политической мобилизации большинства, будь то вечная геополитическая война или желанная всемирная гармония. Часто он настраивается в стороне от больших медийных потоков и наделен большей свободой негативности. Он сосредоточен на опасностях совместного существования и безжалостно, то есть без лишних декораций и приукрашивания, представляет будущее территорией, захваченной призраками. Призраками, чье присутствие обнаруживается уже сегодня средствами социального исследования и анализа данных.



Когда такое высказывание оперирует строго отобранными переменными и показателями, обращение к будущему может звучать невыразительным, даже скучным.

Высказанное тоном интеллектуального предостережения, оно звучит решительнее. Но лишь в более соблазнительных жанровых формах публицистики и антиутопии оно достигает сколько-нибудь массового внимания. На какие ясные и исчислимые показатели может опираться сегодня критическое понимание будущего? Я назову два главных, которые во многом определяют наиболее интересные сегодня версии социальной критики времени. Это автоматизация труда и рост доли финансового капитала в экономике. Прочтя это, кто-то сразу же воскликнет: «Что? И где здесь место трагическим техногенным катастрофам будущего, войнам памяти и всеобщему закабалению в Матрице? Невыразительно и неубедительно». На деле эти два понятия открывают поле для весьма ярких и мрачных предвидений, где находят место все перечисленное и некоторые новые опасности. Следует лишь рассматривать и применять эти понятия как интеллектуальный инструмент, а не как прием выразительного повествования. Но, прежде чем я совсем кратко его охарактеризую, вернусь к ключевому пункту, который уже обозначил.

Если один из главных призраков будущего, который дает форму фантастическому воображению — модифицированное тело, то ключевой тезис интеллектуальной критики общества, захваченного призраками будущего — это модифицированные социальные институты. Различие принципиально, поскольку, растворяясь в грезе о сверхспособностях будущего, мелкобуржуазная сторона нашего воображения теряет чувствительность к скорости и безупречному машинному эффекту, с которым институты эволюционируют и трансформируют наши субъективности уже сегодня, в

эмпирическом мире.

Если точкой отсчета настоящего взять не константное и всегда лишь очень приблизительное понимание «естественного» тела, а институциональные модели, которые приводятся в действие на хорошо обозримых хронологических интервалах, мы вынуждены будем констатировать, что живем в непрерывном будущем, которого попросту не замечаем. Сдвиги в структурах совместности, которые за вторую половину XX века были учреждены в виде социального государства, генерировали новую субъективность (и систему очевидностей) целых поколений, а затем подверглись агрессивному демонтажу, парадоксальным образом остаются почти незаметны большинству. Речь в том числе — о большинстве интеллектуальном, которое продолжает мыслить будущее в парадигме индивидуальной эмансипации, включая телесную. Именно их взгляду мы обязаны сегодня настойчивым превознесением личного над коллективным, а также подменой всей сложной социальной механики, которая требует серьезного внимания, простейшими дилеммами, такими, как авторитаризм или демократия. Подобная фиксация на благородном и воображаемом прошлом скрывает от взгляда, насколько уже сегодня неолиберальные социальные технологии изменили коллективные условия любой постановки вопроса о свободе, времени и телесности.

Каковы следствия тезиса о будущем, производимом в непрерывно модифицируемых социальных институтах? Те самые институты, что гарантируют предсказуемость времени студентам и чиновникам, оказываются ньютоновской системой отсчета, движения которой мы не

замечаем, поскольку сами движемся внутри нее. Слабо предсказуемое будущее, в которое мы погружены, объясняется этим эффектом быстрого и непрерывного скольжения всей системы, которое сливается для нас в плоский горизонт настоящего. Будущее непритягательно, потому что слишком походит на текущий момент для каждого в отдельности. Но все коллективное настоящее-будущее, форму которому придают институты, движется с невероятной скоростью, и этому движению имманентны сильнейшие технологические соблазны.



Наше восприятие еще по большей части не готово к ясному предвидению в такой системе перемещений, и первые попытки предсказаний рисуют куда менее оптимистичное

будущее, чем любой шедевр sci fi. Даже если так, два названных показателя современности позволяют говорить о модифицированной реальности более ясно и структурированно, чем пресловутая модальность «буржуа на Марсе». Какая модификация институтов следует за автоматизацией труда и финансиализацией экономики? Как и все технологии, эти две могут вести к этически несовместимым исходам, предопределенным не собственной структурой технологии, а ее политическим применением.

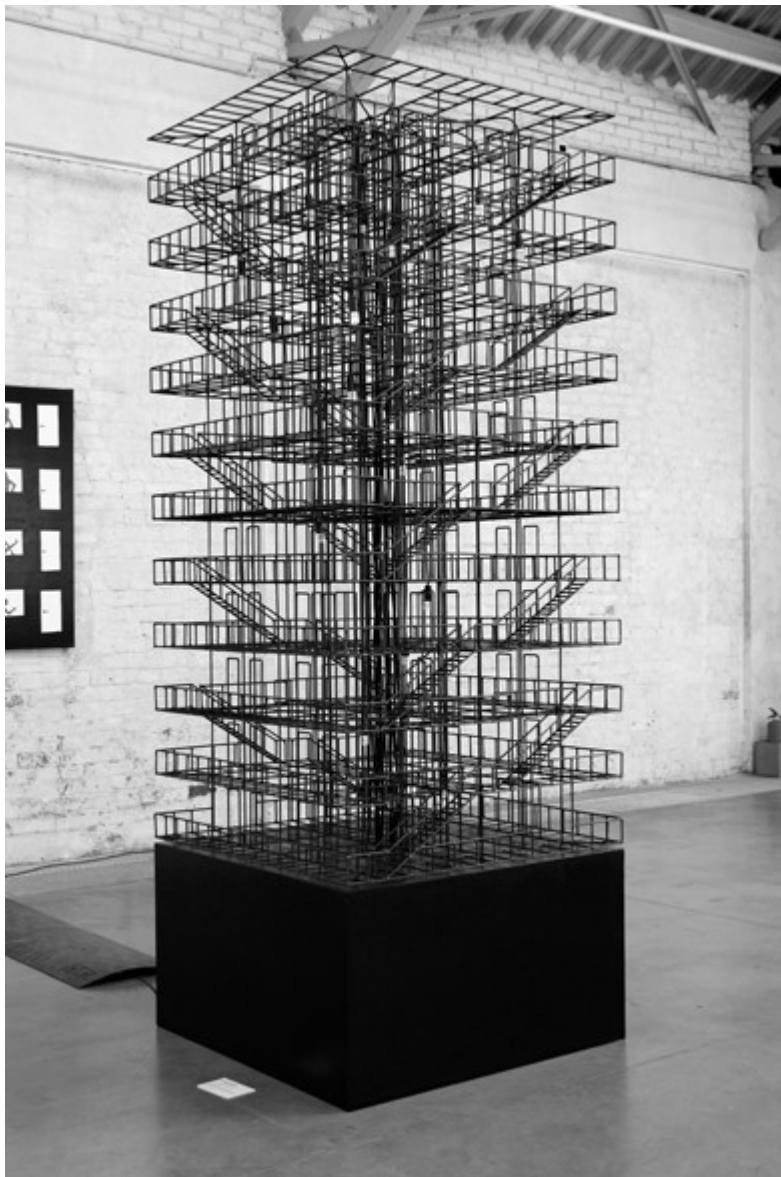
Автоматизация операций, которая охватывает все новые профессии, уже десятилетие назад покинула границы ручного труда. Вопреки расхожим клише, полностью устранить человека с конвейеров по сборке автомобилей или с плантаций по сбору яблок и апельсинов к сегодняшнему дню оказалось невозможным. Куда более серьезна сегодня перспектива замены людей роботами или алгоритмами в сфере квалифицированного труда: в начале очереди уже переместились банковские юристы (проект Сбербанка) и участковые доктора (программа правительства РФ о телемедицине к 2020 году). В пределе автоматизация ведет к исчезновению любого труда. И ее первый исход тесно смыкается с утопией «научно-технической революции», озвученной еще в 1950-е по разные стороны железного занавеса. Согласно этой теории, все человечество, невзирая на классовую принадлежность, освобождается от рутинных механических практик, чтобы обрести время для свободного творчества. Но последнее — это условие новой автономной коллективности: прямая антитеза политическому контролю, которым охвачено производящее население сегодня.

Поэтому второе возможное будущее автоматизации — это мальтузианский призрак избытка человечества. Он нашептывает идею принудительного регулирования или даже уничтожения «лишней» части человечества, о чем не перестает предупреждать в своих работах Франко Берарди. Тем самым автоматизация, которая призвана освободить, при соответствующем политическом регулировании воссоздает новое и более жесткое классовое общество, задыхающееся от распирающего его избытка свободного времени.

Рост доли финансового капитала в экономике также подталкивает к будущему в двух возможных стратегических исходах. Общеизвестно, что банковский капитализм работает на более коротких циклах, более конкурентен, чем производственный, и социально менее ответственен. Поэтому первый исход-призрак институциональных изменений — вовсе не коллапс всех социальных связей и взаимодействий, который приостанавливает межиндивидуальную коммуникацию, эту подвижную платформу финансового капитала. Напротив, в будущем ее ждет уплотнение, спровоцированное продолжающимся неолиберальным захватом. Последний предполагает коммерческую рентабилизацию любых ресурсов солидарности, включая взаимное влечение, внимание, признание. Он не просто модифицирует существующие институты, но рождает новое классовое общество, которое более строго иерархизирует человечество по объему символического капитала взаимного признания, наряду с имеющимися делениями по капиталу экономическому и культурному. Первые признаки этих сдвигов можно было наблюдать в работе новых технологий перераспределения



внимания (таких, как фейсбук). Следующий такт модификации охватывает более масштабные формы совместности: таковы, например, глобализованная система кредитных историй и общекитайская система социального рейтинга.



Второй возможный исход куда менее очевиден, поскольку финансовый капитал трудно заподозрить в стремлении к этической саморегуляции. Верным ключом здесь будет иной, структурный фактор: доля финансового капитала обратно пропорциональна доле труда в экономике и человеческим затратам в производстве. То есть финансиализация социального происходит одновременно с автоматизацией труда и связана с нею через общие

структуры управления временем. Самый логичный, но социально трудно решаемый здесь вопрос — это этическое перераспределение выгод автоматизации через финансовую систему. Ведь в текущих условиях высвобождается не только время, но и соотносимые с ним финансовые ресурсы. Поэтому одно из возможных будущих — это будущее, в котором такие избытки не реинвестированы в неравенства (сверхдоходы управленческих меньшинств и технологии контроля), а превращены в безусловный, то есть не зависящий от индивидуальной производительности базовый доход большинства. Подобная регуляция заставляет призрак жесткой классовой иерархии, диссоциированного прекариата, который убедительно реконструирует Гай Стэндинг, отступить перед возможностью общества без экономических классов.

Таким образом, неотъемлемое измерение нашего коллективного переживания времени, его скрытая телеология разрешается в вопросе о классах. Сегодня, то есть в текущей модификации институтов, очевидно, что оптимистически этичный ответ о коллективном завтра существенно менее вероятен. Долгое десятилетие, которое началось в середине 1980-х и закончилось к концу 1990-х, заставило многих поверить, что классовое общество просто растворилось в водоворотах истории. Ультралиберальная утопия свободного выбора любой идентичности, подобно научной фантастике, значительно опередила ход эмпирического времени. Казалось, что период, когда спонтанный рынок, политическая демократия и личная свобода звучали синонимами, отменил любые социальные границы и перегородки. Наследники этого чувства времени,

отвечая на вопрос о своей социальной принадлежности, и сегодня предпочитают отговариваться неопределенностью, а иногда прямо атакуют понятие классов как «изобретение маркетологов».

На деле, все это время — и даже раньше, с официально объявленной эпохи социальной однородности (то есть с начала 1970-х), — коллективное чувство времени предвосхищало неполное исчезновение классов. Оно было выстроено вокруг более осторожного вопроса о смягчении классовых границ. Бесклассовое общество, которое оставалось формой публичной риторики в ее трансмутациях, почти никогда не было действительной формой коллективного опыта будущего. Сегодня тот же вопрос снова актуален, но в обратной перспективе. Он диктуется не ожиданием выгод научно-технической революции, а явлением грозного призрака новой, технологически более эффективной и контролируемой иерархии общества. Этот призрак — из числа тех, что ясно различимы уже в сегодняшнем мире, но вторгнутся в завтрашний день неузнанными. Конечно, такое вторжение застанет большинство врасплох. Поэтому быть сегодня внимательными к институциональным сдвигам и переменам — значит лучше подготовиться к неизбежному вторжению, которое уже началось.

## Примечания

1. [^](#) См. Бикбов А., Мизиано В. Освобождение времени // [Художественный журнал № 101 \(2017\). С. 32–47.](#)
2. [^](#) Барт Р. Марсиане // Мифологии. М.: Академический проект, 2008.